

Записал Г. И. Мальцев в с. Койда Мезенского района Архангельской обл. 12 июля 1975 года от Надежды Ивановны Малыгиной 76 лет.

«Среди текстов общерусского корпуса на библейские и евангельские сюжеты широкое распространение на Русском Севере получили два варианта стиха о потопе: „Потом страшен умножался...” (20 списков первой половины XIX — начала XX вв.) и „От начала было века...” (16 списков первой половины XIX — начала XX вв.)» (Филофова Т. В. Репертуар духовных стихов старообрядцев Русского Севера. С. 37).

Близкий вариант: «О новом потопе» (Можаровский. С. 296—298) — представляет собой вторую главу «Стиха о казни божией» (Можаровский. № 51). Первая глава «О новом ковчеге» — о постройке ковчега и начале потопа.

Варианты: Бессонов. № 528—530; Варенцов. С. 200; Рождественский. № 64; Бучилина. № 2, 3; Поздеева. № 63, Новиков. № 166—167, Храмова. № 31—32, Кузнецова. № 83, 123.

DOI: 10.31860/0131-6095-2018-4-237-245

© Д. К. Баранов

С. Д. ДОВЛАТОВ И ДИССИДЕНТСТВО: К ВОПРОСУ О ВЗАИМОСВЯЗЯХ

Тема диссидентства нередко возникает в связи с Сергеем Довлатовым. Это писатель, чьи тексты интерпретируют очень по-разному. И неудивительно, что, скажем, А. А. Генис отмечает, что Довлатов к диссидентам относился «хмуро», не доверял,¹ а Г. А. Доброзракова говорит о диссидентствующем автобиографическом герое Довлатова.² Удивительно другое. Даже при поверхностном чтении довлатовской прозы не может не бросаться в глаза постоянная ирония над героями, заявляющими о своем диссидентстве. Так как же так получается, что о Довлатове вообще могут говорить как о писателе, идеологически близком к диссидентскому движению, а то и о диссиденте? Ответ на этот вопрос связан и с некоторыми особенностями довлатовской прозы, и с общекультурными процессами переосмысления советской эпохи. Рассмотрение, казалось бы, частного историко-литературного вопроса о связях между поэтикой одного автора и идеологией и формами одного движения выведет нас на любопытнейший пример того, как в литературе была предпринята попытка решить культурную проблему, которую не получалось решить в реальности.

А. В. Юрчак описывает перформативный сдвиг, произошедший после Хрущевской оттепели.³ В это время застывшая форма дискурса сталинского времени бесконечно воспроизводится. Сам факт канонически оформленного высказывания важнее, чем его содержание. Например, человек идет на субботник не потому, что хочет сделать город чище, но потому что хочет продемонстрировать, что он идет на субботник, не нарушает нормы ритуала.

В такой культуре буквальный смысл высказывания не закреплён, у него могут возникать самые неожиданные значения. В связи с этим возникает и особая смеховая культура, в которой сталкиваются противоречия окружающей действительности. Самым востребованным юмористическим приемом оказывается помещение высказывания, оформленного по правилам официозного дискурса, в неожиданный контекст. Используются свойства ситуации перформативного сдвига — возникающая многозначность. Юмор этот, по Юрчаку, не призван противостоять власти, он отказывается от борьбы.⁴

¹ Генис А. А. Довлатов и окрестности. М., 1999. С. 19.

² Доброзракова Г. А. Сергей Довлатов: диалог с классиками и современниками. Самара, 2011. С. 92.

³ Yurchak A. Everything was forever until it was no more. Princeton, 2006.

⁴ Этому посвящена заключительная глава книги Юрчака «Dead Irony. Necroaesthetics, „Stiob” and the Anecdote» (Ibid. P. 238—281).

Не случайно иронии подвергается не только сам официозный дискурс, но и любое восприятие его всерьез, оценка с позиций «правда — ложь». В этой ситуации возникает ирония над диссидентством, на сегодняшний день ассоциируемым в первую очередь с «Жить не по лжи» А. И. Солженицына. Упомяну, что информацию о диссидентстве сегодня обычный человек почерпнет из наиболее доступных источников. Так, если мы обратимся к популярному portalу «Academic.ru»,⁵ то обнаружим ссылки на источники, в которых говорится, что диссидент — это и «тот, кто не согласен с господствующей идеологией, инакомыслящий»,⁶ и «оппозиционер» или «нон-конформист».⁷ Диссиденты будут и «участниками движения против тоталитарного режима»,⁸ и даже «представителями новой элиты, критически относящимися к старой элите и существующему строю»,⁹ а диссидентство окажется «антисоветским, антикоммунистическим движением граждан СССР с середины 70-х до сер. 80-х гг. XX в.».¹⁰ Самым частым мотивом в определениях оказывается «противостояние существующему режиму».¹¹ Складывается образ диссидента как человека, всерьез обвиняющего официальную власть во лжи или преступности, а значит, самого говорящего исключительно серьезно.

И Довлатов, яркий представитель смеховой культуры, описанной Юрчаком, над такими диссидентами иронизирует. Так, когда в «Филиале» описывается симпозиум «Новая Россия», возникает ирония над ее участниками, серьезно подходящими к буквальному смыслу просоветского дискурса и действующими в рамках столь же неизменного дискурса антисоветского. Впрочем, эта важная идея сходства двух крайностей была видна еще в «Записных книжках»: «— Толя, — зову я Наймана, — пойдемте в гости к Лева Друскину.

— Не пойду, — говорит, — какой-то он советский.

— То есть как это советский? Вы ошибаетесь!

— Ну антисоветский. Какая разница».¹²

В «Записных книжках» возникает и известная фраза: «После коммунистов я больше всего ненавижу антикоммунистов» (IV, 235). В «Филиале» эта фраза стоит после шаблонизированной речи Гуляева, который говорит о преступлениях советской власти «все, что полагается» (IV, 122).

Тема сходства коммунистов и диссидентов у Довлатова появляется в связи с реально существовавшим сходством двух дискурсов, ведь диссидентская речь — во многом калька с уже шаблонизированной официозной речи. Это сходство дискурса отмечал А. Ю. Даниэль: «...в 1969—1972 гг., всерьез обсуждалось название „демократическое движение“ („демдвижение“ и даже „демдвиж“). Однако оно слишком отдавало политикой и партийностью (несколько самиздатских документов того времени подписано «Демократическое Движение Советского Союза» — ДДСС, что неизбежно вызывало аналогию с КПСС), а эпитет „демократическое“ — к тому же и идеологией. Название тихо умерло, чтобы воскреснуть опять в новых исторических условиях в 1989 г.».¹³

⁵ См.: <http://academic.ru> (дата обращения: 31.10.2018).

⁶ Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный: В 2 т. М., 2000. Т. 1. С. 389.

⁷ Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. М., 1998. С. 237.

⁸ Погорелый Д. Е., Фесенко В. Ю., Филиппов К. В. Политология. М., 2008. С. 93.

⁹ Добренков В. И., Кравченко А. И. Социология: В 15 т. М., 2007. Т. 1: Стратификация и мобильность. С. 1002.

¹⁰ Новиков К. Ю. Учебно-методическое пособие по отечественной истории: Учеб. пособие. Для курсантов, студентов и слушателей 1 и 2 факультета, ИЗИДО, ФРК. М., 2010. С. 309.

¹¹ Толковый словарь русского языка конца XX века. Языковые изменения / Под ред. Г. Н. Скляревской. СПб., 1998. С. 214.

¹² Довлатов С. Д. Собр. соч.: В 4 т. СПб., 2010. Т. 4. С. 186—187. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте сокращенно с указанием номера тома и страницы.

¹³ Даниэль А. Ю. Диссидентство: культура, ускользающая от определений? // Семидесятые как предмет истории русской культуры. М.; Венеция, 1998. С. 121—122 (Россия = Russia: Новая сер.; вып. 1(9)).

Конечно, сходство коммунистов и диссидентов затрагивает не только уровень речи. М. Л. Гаспаров отмечал: идеология победившего марксизма предполагает, что мы находимся в итоговой исторической позиции, с которой смотрим на предшествующие эпохи, навязывая им свою систему ценностей. «История уже кончилась, и начинается вечность идеального бесклассового общества, к которому все прошлое было лишь подступом. Все внутренние противоречия уже отыграли свою роль, и остались только внешние, между явлениями хорошими и плохими; нужно делить культурные явления на хорошие и плохие и стараться, чтобы хорошие были всесторонне хорошими, и наоборот».¹⁴

Любопытно, что и Даниэль, когда пишет о появлении диссидентства, также подчеркивает, насколько важной была для диссидентов «селекция по принципу „свой-чужой“».¹⁵ Довлатов же в «Ремесле» часто отмечает, как важна была для него идея газеты, которая дает независимые оценки, и как сложно было эту идею воплотить в жизнь. Ведь когда публиковалось что-нибудь не восторженное по поводу эстетического качества текстов Солженицына, немедленно возникала волна обвинений в работе на КГБ.

Итак, деление на своих и чужих оказывается в центре концепций и коммунистов, и антикоммунистов. Сходство двух взглядов отмечал и А. Д. Синявский: «Один вопрос меня сейчас занимает. Почему советский суд и антисоветский, эмигрантский суд совпали (дословно совпали) в обвинениях мне, русскому диссиденту! Всего вероятнее, оба эти суда справедливы и потому похожи один на другой».¹⁶

Невозможность различить один и другой дискурс, ведущая к неразличению действий, совершаемых на одном и другом полюсе, тоже не раз подчеркивается Довлатовым: «Поговаривали, что конференция инспирирована Москвой. Или, наоборот, Пентагоном. Как водится...» (IV, 339).

Приведенная выше мысль Гаспарова о важности вынесения оценок предыдущим эпохам свидетельствует о потребности коммунистической культуры вписать себя в ход времени, в развитие истории. Логично предположить, что и для сознания, противопоставляющего себя коммунистическому, вписать себя в историю не менее важно. Не случайно у С. Жижека, например, возникает любопытное совмещение: он говорит о диссидентах-коммунистах, «с риском для жизни борющихся против того, что они считали „бюрократической деформацией“ социализма в Советском Союзе и других частях коммунистической империи».¹⁷

А вот у Довлатова собственно движение истории практически не представлено. Хотя как раз от прозы, претендующей на автобиографичность, этого следовало бы ожидать. Не случайно И. В. Герисимов и М. Б. Могильнер, ссылаясь на И. А. Паперно, говорят о привычке авторов мемуаров в XX веке связывать факты своей жизни с историческим движением вообще: «Гегельянство стало философским основанием взгляда на собственную биографию как на реализацию воплощенного в ней

¹⁴ Гаспаров М. Л. Лотман и марксизм // Лотман М. Ю. Внутри мыслящих миров. Человек — текст — семиосфера — история. М., 1996. С. 415—416.

¹⁵ Даниэль А. Ю. Диссидентство: культура, ускользающая от определений? С. 117. Впрочем, Даниэль говорит о том, что это разделение проводилось в первую очередь не по оценке каких-то явлений, а по готовности или неготовности принять определенные правила игры, поведения.

¹⁶ Синявский А. Д. Диссидентство как личный опыт // Литературный процесс в России. М., 2003. С. 34.

¹⁷ Жижек С. Два тоталитаризма / Пер. И. Фридмана // Русский журнал от 28.02.07 (см.: <http://www.russ.ru/Mirovaya-povestka/Dva-totalitarizma> (дата обращения: 31.10.18)) оригинал: Žižek S. The Two Totalitarianisms // London Review of Books. 2005. Vol. 27. № 6. P. 8 (см.: <https://www.lrb.co.uk/v27/n06/slavo-j-zizek/the-two-totalitarianisms>). Любопытно в связи с этим и то, что Даниэль в упомянутой выше статье связывает между собой первых диссидентов и поколение шестидесятников, многие из которых верили в коммунистические идеалы, но считали, что в сталинское время они были извращены. Это своеобразный способ сказать, что история пошла по какому-то неправильному пути, выстраивая свою линию преемственности.

общего хода истории».¹⁸ Но довлатовская проза в эту тенденцию не вписывается. История, что большая, что частная, подана, скорее, в пространственных категориях. Событие, изменившее, казалось бы, мир довлатовского героя,¹⁹ представляло собой пересечение пространственной границы между «здесь» и «там». «...Я ведь пересек континент. Оставил позади четыре тысячи километров» (IV, 39) — так думает герой «Филиала» о смене советского мира на западный. Эмиграция это другое пространство, а не время. Перед нами почти фольклорный сюжет: пересечение океана оказывается путем в другой мир, который отличается от старого, но чем-то очень на него похож (в этот широкий контекст вписывается и частный момент схождения антисоветского и советского дискурса). Показательное пространственное осмысление истории в ироническом ключе возникает в начале «Филиала», когда герой оказывается на «пьянке в честь дочери Сталина» и размышляет: «Справа, думаю, родственник Керенского. Слева — потомок императора. Напротив — дочка Сталина. А между ними — я. Представитель народа. Того самого, который они не поделили» (IV, 12).²⁰ Попытка как-то вписать себя (и свою семью) в историю наблюдается разве что в «Наших». Но и там возникающую в ироническом финале стершуюся пространственную метафору «то, к чему пришла моя семья и наша родина» (II, 444), нельзя трактовать как серьезную попытку увидеть себя в контексте реального исторического процесса. Скорее, здесь возникает идея памяти о Советском Союзе, но и память у Довлатова тесно связана именно с пространственными категориями — не только в «Филиале», но и, например, в «Марше одиноких»: «Не бывать тебе американцем. И не уйти от своего прошлого. Это кажется, что тебя окружают небоскребы... Тебя окружает прошлое» (II, 488). «Тогда и сейчас» неотделимы от «здесь и там». Не случайно Сухих отмечал, что названия больших произведений Довлатова (например, «Зона», «Заповедник», «Наши», «Филиал») образуют определенный «пространственный сюжет».²¹

Казалось бы, сказанного достаточно, чтобы утверждать, что довлатовская проза не связана с диссидентством. Однако пока мы говорили о понимании диссидентства как явной оппозиции официальной власти, о понимании, которое распространено сейчас.

Отправной точкой диссидентского движения традиционно считается процесс Синявского и Даниэля. Любопытно, что Синявский, говоря о происхождении диссидентства, отмечает, что это взгляд на советское общество изнутри его самого, а ни в коем случае не политическая оппозиция.²² Александр Даниэль — сын Юлия Даниэля — также пишет о невозможности положительно определить диссидентство через какую-то обобщенную модель политических (а также религиозных, эстетических, философских) взглядов. Диссидентство «ускользает от всяческих определений и классификаций»,²³ и поэтому диссидентами становились очень разные люди.

¹⁸ Герасимов И. В., Могильнер М. Б. *Amarcord*. XX век: забыть идеологию? // *Ab Imperio*. 2004. № 1. С. 358.

¹⁹ Речь идет о типе героя, каким он дан в большей части произведений Довлатова. И. Н. Сухих называет этого героя «автопсихологическим» — см.: Сухих И. Н. Сергей Довлатов: Время, место, судьба. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 2006. С. 51.

²⁰ Вообще смешение пространства и времени часто возникает у Довлатова на микроуровне. Например, в «Дороге в новую квартиру» возникает следующая фраза: «Варя (...) взглянула на старый дом. Увидела его весь. (...) От забытых игрушек в желтой яме с песком до этой минуты в кабине грузового автомобиля» (I, 197; курсив мой. — Д. Б.).

²¹ Спецкурс «Довлатов. От ЗК до ЗПК», прочитанный И. Н. Сухих на филологическом факультете СПбГУ в осеннем семестре 2010 года.

²² Синявский А. Д. Диссидентство как личный опыт. С. 23.

²³ Даниэль А. Ю. Диссидентство: культура, ускользающая от определений? С. 123. Также Даниэль отмечает, что само слово «диссидент» не очень удачно, так как сами «диссиденты» себя так, как правило, не называли. Однако мы в статье пользуемся этим термином за неимением более подходящего, а также потому что стараемся учесть современные представления о культуре советского времени.

По Даниэлю, хоть как-то определяют диссидентство лишь три момента: культура поступка, игра и ирония.

Игра диссидентов представляла собой моделирование некоей ситуации внутри пространства государства. Задаваясь вопросом о том, что моделировали диссидентские игры с политическими платформами, Даниэль приходит к следующему выводу: «Андрей Амальрик пишет, что диссиденты в несвободной стране начали вести себя как свободные люди. [...] И, в общем, становится ясно, во что играли диссиденты, вне зависимости от их идейной и политической ориентации. Они играли в гражданское общество».²⁴

Областью применений правил игры, по Даниэлю, становилась «собственная биография участника диссидентского движения».²⁵ По мысли автора, диссидентство — культура социально маркированного поведения. Перформативное измерение в постсталинской действительности было важнее констатирующего. Диссиденты же в ответ на это создают свою перформативную культуру, где важнее *не* прийти на субботник не потому что ты не хочешь сделать город чище, но потому что *не* хочешь участвовать в ритуале. Где надо прийти к знакомому, у которого идет обыск, хотя все равно ничего не сможешь сделать. Где надо играть в свободное общество, не предполагая даже возможности реализации каких-то своих идей.

Справиться же с осознанием бесплодности своего поведения помогала тотальная ирония и самоирония.

Диссидентство, каким оно предстает у Даниэля, похоже на ту смеховую культуру, которую описывал Юрчак. Задачей раннего диссидентства оказывается вовсе не противостояние власти. По Даниэлю, как раз «когда на смену играющим докторам наук и героям соцтруда стали приходиться серьезные молодые люди из котельных с сознанием собственного нравственного превосходства над средой, общество не то чтобы обиделось, но просто потеряло интерес к диссидентству. Общество резонно полагало, что морализировать оно и само умеет не хуже любого кочегара».²⁶

В связи с этим Даниэль отмечает и неловкость, которую испытывали ранние диссиденты при выпадении из общества. Именно поэтому сами диссиденты более чем сдержанно отнеслись к «Жить не по лжи» Солженицына.

Получается, мы можем говорить о «раннем» игровом диссидентстве 1960-х — первой половины 1970-х годов и о *позднем серьезном* диссидентстве 1980-х, утрированное видение которого распространено сейчас.

Сознательной или невольной попыткой выстроить собственную историю объясняется и изменение понятия «диссидент», и желание найти диссидентов среди писателей последнего поколения. Я. Зерубавель описывал ситуацию, в которой «контрпамять», которую формировали большевики по отношению к господствовавшей официальной памяти в начале XX века, после революции меняла свой статус — сама становилась официальной памятью.²⁷ Вероятно, нечто похожее произошло и после распада Советского Союза. Коллективная память, по М. Хальбваксу, трансформируется в ответ на меняющиеся потребности общества.²⁸ Победившей памяти надо показать свою связь с прошлой «контрпамятью». В этой ситуации выгодно культивировать представление о диссидентах как об активных борцах с режимом и демонстрировать свою связь с ними. И чем больше было борцов с режимом, тем мощнее выглядит основание современной памяти.

Получается, что Юрчак описывал именно серьезное диссидентство конца 1970-х — начала 1980-х годов. Раннее же диссидентство было как раз характер-

²⁴ Там же. С. 123.

²⁵ Там же. С. 117.

²⁶ Там же. С. 123.

²⁷ Зерубавель Я. Динамика коллективной памяти // Ab Imperio. 2004. № 3: Историческая память и национальная парадигма. С. 71—90.

²⁸ Хальбвакс М. Коллективная и историческая память // Неприкосновенный запас. 2005. № 2—3 (40—41). С. 8—27.

ным порождением существовавшей смеховой культуры. И на представителя раннего диссидентства Довлатов, действительно, похож.

В центре внимания Довлатова оказывается перформативный характер советской культуры. При этом довлатовский герой часто отвечает перформативными же высказываниями на то, что предлагает ему реальность: «Потом звонили из конторы. <...> Было загадочное распоряжение: „Сократить на двенадцать процентов количество авторских материалов“. Я стал думать, что это значит. Число авторских материалов на радио было произвольным. Что значит — двенадцать процентов от несуществующего целого? <...> Продиктовал ответный телекс: „Количество авторских материалов сокращено на одиннадцать и восемь десятых процента“. Затем добавил: „Что положительно отразилось на качестве“» (IV, 81—82).

Довлатов демонстрирует, что конференция, описанная в «Филиале», смешна как раз потому, что от категории игры в антропологическом смысле мы приходим к несерьезной детской игре. Если бы подобная конференция проходила раньше и в Советском Союзе, она была бы похожа на то, что делали диссиденты 1970-х годов, однако при пространственном перемещении (для Довлатова это важно), смысл теряется. Подобная конференция в Америке это больше не моделирование гражданского общества в *несвободной* стране.

Мифологизированная биография Довлатова становится областью постоянной игры — так же, как областью игры становилась, по Даниэлю, биография участников раннего этапа диссидентского движения. Добавим ко всему сказанному постоянную иронию и самоиронию, ускользание от самоопределения и оценок и сложность в выявлении непротиворечивой этической системы, принципиальный отказ от выражения нравственного превосходства над кем бы то ни было, даже постоянный мотив вины довлатовского героя, перекликающийся с чувством неловкости, которое было характерно для ранних диссидентов.

Довлатовское *миросозерцание* (IV, 17) очень схоже с тем взглядом на мир, который был характерен для диссидентов, описанных Даниэлем. Показательно, что даже отзывы на диссидентскую прозу, о которых упоминает Даниэль, почти дословно совпадают с некоторыми отзывами на тексты Довлатова. Читаем у Даниэля: «Самое интересное во всей этой прозе — не она сама, а равномерно отрицательное отношение к ней людей, которые были причастны к диссидентской активности. <...> Формула этой критики выглядит, если немного утрировать, следующим образом: в персонаже по имени Коля автор прозрачно изобразил известного Васю — так вот, никакой это не Вася, потому что Вася совершенно не такой. Отметим эту любопытную особенность диссидентской культуры — нежелание узнавать себя в любых, доброжелательных или враждебных, отражениях».²⁹

Сравним это с отзывами на довлатовскую прозу. Например, В. В. Герасимов оставил такой комментарий: «Многим, наверное, известно, что именно меня Довлатов изобразил в своей повести „Заповедник“ под видом Володи Митрофанова. <...> я прочел „Заповедник“ и нашел, что Довлатов нарисовал довольно злую карикатуру на меня...».³⁰ Так же категорично выразился Д. К. Кленский: «Обо мне в „Компромиссе“ нет ни слова правды <...> Я не понимаю, почему я должен всем объяснять, что он мне приписал следующие вещи...».³¹ Еще одну характеристику находим у Л. Е. Агеевой: «Гену Лаврентьева, нашего однокурсника, того самого, который привел к Андрею в гости медсестру, Довлатов описывает так: „У него были пышные волосы и мелкие черты лица — сочетание гнусное“. В общем, обидел Сережа хорошего человека, — внешность у Лаврентьева совершенно другая, ничего похожего».³²

²⁹ Даниэль А. Ю. Диссидентство: культура, ускользающая от определений? С. 116.

³⁰ Ковалова А. О., Лурье Л. Я. Довлатов. СПб., 2009. С. 285.

³¹ Там же. С. 199.

³² Агеева Л. Е. Довлатов: ранние окрестности // Вопросы литературы. 2003. № 5. С. 236.

Но важно сказать о том, что же в довлатовской прозе добавляется к описанному *околодиссидентскому* взгляду на мир. Раннее диссидентство постоянно играет с перформативной культурой, но не пытается вернуть констатирующее значение высказыванию (как и в целом смеховая культура позднего советского времени). Довлатов же пытается смоделировать решение возникающей коммуникативной проблемы, вернуть слову смысл — внутри художественного текста. У нас нет возможности в деталях описать этот сюжет, остановимся лишь на показательных ключевых точках.

В рассказе «Представление», вошедшем в «Зону», заключенные ставят идеологически выверенную пьесу. Актер, играющий Ленина, говорит: «Кто это? Чьи это счастливые юные лица? (...) Неужели это те, ради кого мы возводили баррикады? Неужели это славные внуки революции?..» (II, 171). Перед нами характерный прием: помещение официозного дискурса в неподходящий контекст. Заключенные и охранники, сидящие в зале и оказавшиеся в позиции адресата, начинают хохотать. Происходит полное несовпадение предполагаемого и реального зрителя. Однако вскоре актеры начинают петь «Интернационал», и все меняется. На месте реальных зрителей все еще не те, которых имели в виду авторы пьесы, однако именно неожиданно попавшие в такую ситуацию зэки и воровцы оказываются способны на подлинное переживание слов «Вставай, проклятем заклейменный, / Весь мир голодных и рабов...». И это приводит к чему-то вроде катарсиса и для героя, и для начавших подпевать слушателей (ломается стена повествовательного уровня, зрители создают текст наравне с актерами). Нельзя не согласиться с Сухих, что смех и совместное пение объединяют воровцев и зэков, что принципиально важно для структуры «Зоны».³³ Однако можно поспорить с предположением, что на месте «Интернационала» могла быть любая песня³⁴ — слишком тесно связан текст с контекстом. Именно после слов «весь мир» люди начинают подпевать, начинается единение. Именно кульминационные слова «Мы наш, мы новый мир построим, / Кто был ничем, тот станет всем» возникают в голове у читателя, который творчески подключается к произведению, но эти слова не воплощаются в тексте — в момент, когда они должны появиться, описывается катарсическое состояние героя. Именно последний, третий куплет перестают петь хором, ведь в нем мотив единения вытесняется мотивом противопоставления наших и не-наших.³⁵ Перед нами не просто всеобщее единение, но налаживание коммуникации, неожиданное совпадение плана выражения и плана содержания. Впрочем, эта коммуникация недолговечна, краткий миг единения ни к чему не приводит. Кроме того, эта коммуникация абсолютно случайна.

Вот в «Компромиссе одиннадцатом» мы видим сознательную попытку героя прекратить участие в цикле перформативных ритуалов. Герой не хочет фальшиво скорбеть на похоронах неизвестного ему человека. Однако приходится участвовать в церемонии, забирать тело из морга, нести гроб, говорить речь. Центральным мотивом рассказа (как и всего цикла) оказывается подмена означаемого.³⁶ Так, от редакции на похороны должен был ехать не Довлатов, а Шаблинский, за которого все и принимают героя.³⁷ На протяжении рассказа за именем «Ильвес» вместо по-

³³ Сухих И. Н. Сергей Довлатов: Время, место, судьба. С. 109.

³⁴ Там же.

³⁵ «*Лишь мы, работники всемирной / Великой армии труда, / Владеть землей имеем право, / Но паразиты — никогда! / И если гром великий грянет / Над сворой псов и палачей...*» (курсив мой. — Д. Б.).

³⁶ Он проявляется и за счет постоянных каламбуров вроде такого, например: «— Говорят с Таллина, — заявил Быковер (...)»

— Дорогой товарищ Сталин! (...)»

— Я не Сталин, — добродушно исправил Быковер, — я — Быковер. (...)»

Через сорок минут Быковера арестовали. За кощунственное сопоставление. За глумление над святыней. За идиотизм» (I, 435).

³⁷ Не случайно Довлатов отправляется на похороны в пиджаке Шаблинского, символически примеряя на себя эту роль.

койника несколько раз скрывается кто-то из его родственников. В финале эти ложные подмены оборачиваются настоящей и определяют сюжетный уровень: выясняется, что по ошибке хоронят не того человека. Однако даже родственники молчат, так как не хотят прерывать церемонию, ведь идет прямая трансляция.

Герою предоставляют слово на могиле. Довлатов, не знавший ни Ильвеса, ни человека, которого хоронят вместо него, выступает против бесконечного бессмысленного перформатива окружающего мира: вместо того, чтобы говорить все то, что полагается и что он уже, как опытный журналист-халтурщик, придумал, он начал говорить от себя «о тайнах человеческой души. О преодолении смерти и душевного горя. О законах бытия, которые родились в глубине тысячелетий и проживут до угасания солнца...» (I, 447).

Но героя не понимают. Его своеобразный протест не помогает вырваться из порочного круга. Что важнее, он вообще не воспринимается как протест, не замечается окружающим миром. Речь героя сменяется эпизодом, напоминающим нам о перформативности культуры: «Я все узнал, — сказал Быковер. Его лицо озарилось светом лукавой причастности к тайне. — Это бухгалтер рыболовецкого колхоза — Гаспля. Ильвеса под видом Гаспли хоронят сейчас на кладбище Мери-вяля. <...>

— Можно завтра или даже сегодня вечером поменять надгробия, — сказал Альтмяэ.

— Отнюдь, — возразил Быковер, — Ильвес номенклатурный работник. Он должен быть захоронен на привилегированном кладбище. Существует железный порядок. Ночью меняют гробы...» (I, 447—448).

«Тайна человеческой души», о которой говорил герой, оборачивается (это главная подмена означаемого) «тайной» Быковера, узнавшего о том, кого хоронят под видом Ильвеса.

Герой в «Компромиссе» не может вернуть значение слову, хотя и предпринимает такую попытку. Не может наладить коммуникацию с миром. Более успешен герой «Заповедника».

В центре повести тоже лежит проблема коммуникации. Главный мотив — несовпадение означаемого и означающего, примат перформативного измерения над констатирующим. Мотив этот снова получает воплощение даже на уровне сюжета. Так, сам пушкинский заповедник призван быть местом памяти, которое, по П. Нора, должно получить тройную реализацию: материальную, функциональную и символическую.³⁸ Все так и есть, но символизация проходит странно. Туристам важно приехать туда, потому что так принято. Желания помнить нет. Вместо приобщения к прошлому есть приобщение к ритуалу. С этим же связан и мотив Пушкина-божка, которому «поклоняются» туристы и работники.³⁹

Но и сам Алиханов — главный герой повести — как всегда, включен в гипертрофированно перформативную культуру. Иногда это подчеркнуто иронично, например, когда он, продумывая экскурсию, пытается найти логичный переход из одного зала в другой, и в конце концов придумывает: «Друзья мои! Здесь, я вижу, тесновато. Пройдемте в следующий зал!..» (II, 236). Гораздо важнее эпизод, когда герой не может уснуть в гостинице. Читая писателя Волина (и видя, что слова «предельный» и «беспредельный», встречающиеся на соседних страницах, значат у него одно и то же (II, 212)), он осознает, что слово утратило свое значение. Это его удручает. Алиханов пытается разобраться в своих проблемах, но не может этого сделать, так как начинает убегать от себя с помощью каламбуров — так же, как убегал от разговоров с другими героями.

³⁸ Нора П. Между нацией и историей. Проблематика мест памяти // Нора П. Франция-память. СПб., 1999. С. 17—50.

³⁹ Подробнее об этом см., напр.: Доброзракова Г. А. Пушкинский миф в творчестве Сергея Довлатова: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Самара, 2007. С. 9—12, 14—17.

Однако в финале повести герой меняет свое отношение к слову. Он признает правоту жены, частично налаживает отношения и с ней, и со всем миром («я увидел мир как единое целое» (II, 324)) — и за счет этого перестает отличаться от повествователя. Читатель понимает, что ему было рассказано вовсе не о смешных проблемах героя-неудачника, который сочинил всего одно плохое стихотворение. Результатом творчества героя становится весь сложноорганизованный текст, рассказанный повествователем, так что и проблемы его выходят на другой уровень. Место написания «Нью-Йорк» «досказывает» текст, намекая, что герой отправится вслед за семьей, и окончательно разрушает границу между разными инстанциями текста, а переключка с посвящением («моей жене, которая была права») подключает к игре мифологизированную биографию конкретного автора.

В этом ключевом эпизоде возникают слова: «При чем тут любовь? — спросил я. Затем добавил: — Любовь — это для молодежи. Для военнослужащих и спортсменов... А тут все гораздо сложнее. Тут уже не любовь, а судьба...» (II, 234). Сначала кажется, что герой произнесет очередной каламбур, однако он демонстрирует новое для себя отношение к слову: он не просто отбрасывает его, прерывая коммуникацию, но ставит на его место другое — более подходящее *по смыслу*. Это преодоление каламбура.

Итак, мы старались показать, что сложное культурное явление — диссидентство — упрощается само, затем его еще более упрощенно видит новое поколение, которое пытается создать новую историческую память и для этого делит представителей предыдущей культуры на своих и чужих. Писатель, которого воспринимают упрощенно, легко подверстывается под «диссидента», под словно бы «своего», несмотря на очевидные нестыковки. Между тем, в творчестве этого писателя присутствовала попытка рассмотреть особенности культуры, собственно породившей и диссидентов, и его самого — чем и объясняются точки пересечения между поэтикой Довлатова и культурой раннего диссидентства. Но что важнее, Довлатов идет дальше: создает героя, который пытается справиться и даже порой справляется с собственной включенностью в излишне перформативные ритуалы окружающего мира, преодолевает бесплодную любовь к охраняющим душевный покой, но бессмысленным каламбурам, изменяет свое отношение к слову.

Это происходит внутри художественного мира. Впрочем, граница между миром текста и внешней реальностью размыта у Довлатова за счет игры с читателем и с собственной мифологизированной биографией. И что, как не чтение подобных текстов, может помочь реальному человеку наладить собственные отношения с миром, научиться видеть постоянные несовпадения означаемого и означающего? Что может помочь помнить о настоящем значении высказывания? Что, как не чтение подобных текстов, может восстановить или создать возможности для нормальной коммуникации на уровне целой культуры?